

СОВЕТСКИЙ ВЕК

**Юрий
Власов**



КРАСНЫЕ ВАЛЕТЫ
КАК ВОСПИТЫВАЛИ ЧЕМПИОНОВ

Юрий Петрович Власов
Красные валеты. Как
воспитывали чемпионов
Серия «Советский век»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65266252

Красные валеты. Как воспитывали чемпионов:

ISBN 978-5-00180-127-6

Аннотация

Эта книга о юношах, которые выросли во время Великой Отечественной войны и почти все потеряли отцов. Они пришли в Суворовское училище в 1946 году, которое дышало торжеством победы, и воспитывались боевыми офицерами – участниками великих сражений.

Она – о жизни в Суворовском училище, об эпохе сталинского времени, оставившего след в судьбах ребят, о первом чувстве любви, о свершившихся мечтах и надеждах.

Эта книга как кислородная маска для современников, принимающих от новой эпохи смертельные удары безобразия и невежества.

В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Часть I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Юрий Петрович Власов
Красные валеты. Как
воспитывали чемпионов

© Власов Ю.П., 2021.

© ООО «Издательство Родина», 2021

Часть I

Училище убитых отцов

Забойно гулки наши шаги в дощатом настиле пристани. У прочих касс очереди до самых домов, нависших над берегом метрах в трёхстах, а перед воинской – ни души. Я горд этой исключительностью. Наша касса даже особнячком, с другой стороны 1-го этажа речного вокзала – затейливого деревянного сооружения под завитушками. Темна, непогожа Волга, изрыта ветром. За рыхлыми приземленными тучами её смутные, дождевые дали. Ветер прожигает через сукно гимнастёрки, тербит фуражку.

Гвардии старший сержант просовывает отпускное предписание в окошко и с нажимом на доверительность и задушевность разъясняет, что необходим третий, непредусмотренный документами «билетик для племяша». Кто отвечает, не вижу: гвардии старший сержант грудью налегает на кассовый лоток, однако, тот в окошке начинает нудно бубнить о нарушениях правил и предсказывает скорый суд некоего капитана Вихрова. К человеку с таким голосом, да ещё за конторкой, я испытываю брезгливость. Разве там мужчина?

Везде в тетрадах для себя я пишу: «Жибо стрев динпис гра». Мой девиз! Я намеренно срезал и запутал слова – никто не прочтёт.

– Жибо стрев динпис гра, – шепчу я и вздёргиваю подбородок.

«Жибо» – жизнь борьба. «Стрев» – стремление вперёд. Остальные буквы разверну в слова, когда сбудутся. Лишь тогда. Это зарок.

Уступок не приемлю! Только – «Всё или ничего!» Пластины с этими письменами каждый раз вшиваю вместе с дощечками в погоны. На плечах, пусть скрыто, однако несу девиз жизни «Жибо стрев динпис гра!»

Слабых нет. Слабыми становятся...

Шалишь ветерок. Подтягиваю подбородный ремешок: до чего ж приятен его строгий лаковый охват! Ободряюще улыбаюсь Тамаре.

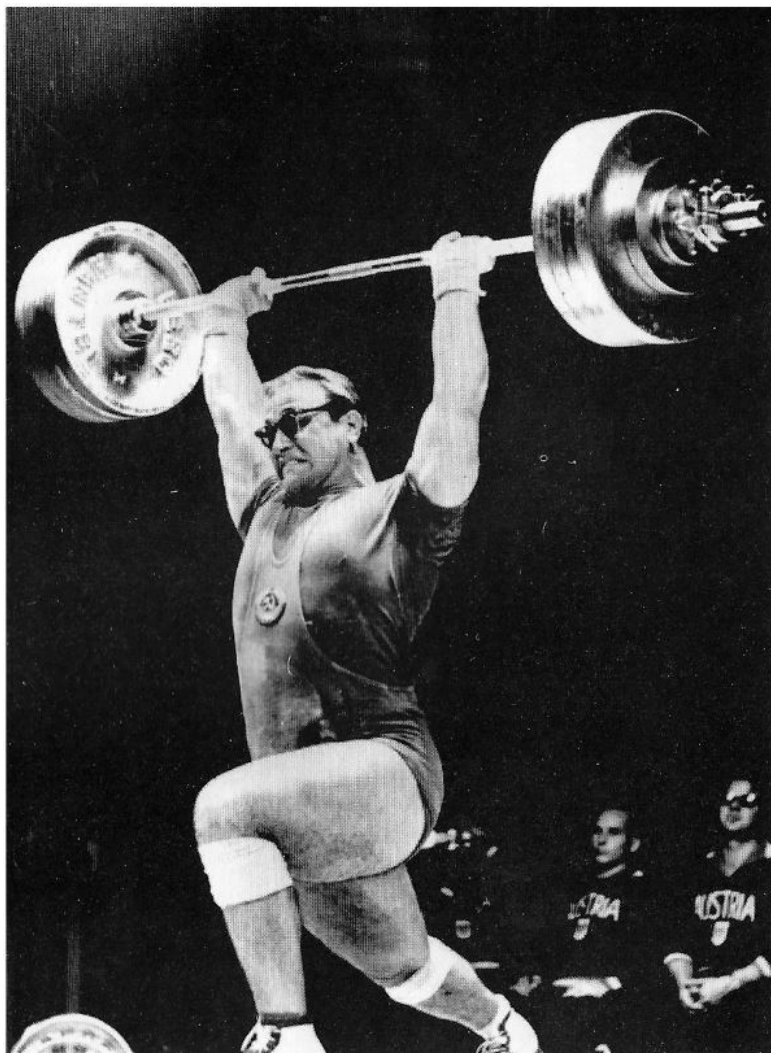
Я заметил её первым: фигурка в чёрном на отшибе... вон у той многовесельной лодки, что за сходнями, днищем вверх. Девушка промокала слёзы концами белого платка, повязанного по-чувашки, по самому низу лба. Видеть слёзы я спокойно не могу и не умею.

Мне скоро восемнадцать. Я в последнем классе 1-й выпускной роты Суворовского военного училища. Я горжусь суровой военной муштрой, разворотом набитых мышц и почитаю особый «кадетский» шик: пряжка и пуговицы надрены, сапоги – блеск от задника до носка. На красных с белой окантовкой суконных погонах – шифр училища. Погоны – на загляденье. Внутри каждого вшита фанерка (и, само собой, пластина с девизом). Под самой гимнастёркой ватные

плечики: я пользуюсь мамиными, привожу с каникул.

Гимнастёрка без нагрудных карманов, как и положено, но от их предполагаемого места к поясному ремню тщательно проглажены складки. За складки не хвалят, но они из того же «кадетского» шика. Модная ширина брюк не менее сорока сантиметров. Так как любые клинья из брюк немедленно выпарываются старшиной, мы освоили растяжки. Их почему-то называют «торпедками». За ними всегда очередь, как и за единственным утюгом.

На ночь фанерные растяжки, суженные с одной стороны, вгоняются в мокрые брючины. Как только не лопаются!.. Дневальный поднимает нас по записи. Точнее, будит первого, а мы уж после – друг друга. Поутру, в начале пятого, меня поднял Володька Грачёв из 2-го взвода... За окнами бесцветно вызревал новый день. Лампочка в хозяйственной комнате уже и не светила толком. Я отутюжил брюки с растяжками в считанные минуты, но даже сквозь оглушённость сном я испытал волнение: сумрак обволакивал просторные помещения старинного здания, незнакомо пусто зависали чугунные пролёты лестницы и нечто таинственное чудилось в покое...



Стокгольм, 1962 год. Чемпионат мира.

Победа и три мировых рекорда, о которых сообщали все газеты мира.

Глагол времён! Металла звон!

Твой страшный глас меня смущает...

Как это мощно и красиво звучит: «Глагол времён! Металла звон!..»

А брючата что надо! Полощутся на все 43 сантиметра! Жаль, через пяток дней сядут...

Затяжно поскрипывая, елозят перила, сходни, вздрагивает палуба вокзала. Чалит пароходик. Топот заглушает бурление воды под винтом. Меня притискивают к перилам, толкают мешками. Неряшливость и жадная суетливость людей в гражданском коробит. Толпа напирает, не ожидая посадки. Пароходик кренится, раскатно грохочет шагами новых пассажиров. Шубина тоже отжимают к перилам. Он так и стоит с документами в руке.

Кошусь на Тамару. Что знаю я о любви, кроме книжных страниц? Просветительская роль казармы не в счёт: там такие «итальянские новеллы» в ходу! Особливо тароваты на них сержанты и старшины из фронтовиков, а среди них, бесспорно, первым являлся старшина Огарков.

– ...Зарапортовался, сержант. Личные делишки за счёт служебных!..

Этот голос в окошке и впрямь неживой. Без всякого выражения, ровно металлический скрежет. Тотен копф!¹ Это Мишка Штиглиц, по прозвищу Кайзер, научил меня немецким словечкам. А пристань опять пуста, и парходика нет. Смыла Волга.

– Нужны, сержант, твои объяснения, как заднице телефон. Чтоб я нарушил порядок?..

– Дело житейское, товарищ младший лейтенант. Документ правильный, факт, но ведь одну шинель на двоих не напаялишь. Для племяша билетик, верно докладываю. Я ж не какой-то чужак, а свой, армейский... – Шубин ложится подбородком на кассовый лоток и так понижает голос, что я уже ничего не слышу.

Думаю о начале весны, о радостном ожидании дней, о несправедливостях казарменного заточения, о том, что весной все мы, будто сходим с ума. Ближе к апрелю нас уже просто разрывает жажда деятельности. После отбоя мы пересказываем небылицы про знаменитых спортсменов, спорим о новостях, мечтаем о поцелуях. При всём том безбожно сквернословим: это тоже из училищных правил хорошего тона.

Мы старательно, без лени, снова и снова закрепляем сапог или швабру над дверью в спальне и гогочем, когда она лупит всяк входящего...

Любой помощник командира взвода – сержант или стар-

¹ Мёртвая голова (*нем.*)

шина – не имеет права уйти домой после отбоя, пока да в спальне его взвода не установится тишина. Наше условие помощнику командира взвода одно, и оно непреклонно: рассказ о фронтовых и госпитальных похождениях – и ты свободен! «Плыви, мой чёлн, по воле волн...»

И пока не иссяк далеко не скудный запас воспоминаний старшины Огаркова, мы почти каждый вечер вкушали устные варианты «декамероновских новелл» сурового военного и очень матерного времени. Да, это такие новеллы, от стыда за которые, наверное, расплавился бы танк «Т-34», за рычагами которого старшина Огарков отвоевал механиком-водителем два с лишним года!..

Поглядываю на Шубина: улещивает кассира. Как хватает терпения!

– За тебя шею подставляешь? Шляется вас тут!..

– Точно, хлопот не оберёшься с нашим братом. Не позавидуешь вашей службе. Это ж сколько здоровья! И все, товарищ младший лейтенант, к вам. Как в анекдоте: муж возвращается – под кроватью жены чужие чёботы...

– Чёботы, говоришь?

Дело в шляпе! Этот Квинтилий Вар² уверенно топает в

² *Публий Квинтилий Вар* (около 53 года до н. – 9 год н. э.) – родственник императора *Августа*. Будучи наместником в Германии вымогательствами и насильственной романизацией вызвал восстание германских племён во главе с вождём херусков *Арминем*. Все римские войска – 3 легиона (27 тыс. легионеров) полегли, окружённые в дебрях Тевтобургского леса. Бой длился 3 дня. Сам *Квинтилий Вар* покончил с собой. После столь сокрушительного поражения Рим вынужден

западню моего гвардии старшего сержанта.

– ...Она так мужу и ответила, сержант? А его забирает, говоришь? Да ей, шлюхе, не то нужно было!..

Ура, разгром бумажных легионов в Тевтобургском лесу³ анекдотов предрешён! Враг пятится по всем линиям!..

Я мельком заглядываю через плечо Шубина, любопытно всё-таки. Там, чуть поодаль от кассового выреза, белеет узкий погончик офицера административной службы и склонённая к узкому столу маленькая уплощенная головка с такой высокой причёской под «бокс», что кажется он выстрижен наголо, как обычный солдат. Вот и весь Квинтилий Вар.

* * *

Гвардии старший сержант уже несколько месяцев как сменил старшину Огаркова. Не в пример Шубину старшина способен был почти мгновенно потерять рассудок, хоть ему от силы двадцать пять годков, и нервы должны быть канатными... Огарков становился бледным, белели даже губы – дро-

был приостановить продвижение за правый берег Рейна и отодвинуть границу Римского государства к Рейну и Дунаю.

³ *Кромвель Оливер (1599 – 1658)* – деятель (диктатор) английской буржуазной революции, вождь индипендентов, впоследствии лорд-протектор Англии, царевбийца. По определению Ф. Энгельса, «...совмещал в одном лице Робеспьера и Наполеона» английской революции. Не знал и не разумел, что такое слово «пощада». Умер своей смертью, до последнего вздоха попирая Англию. По сути, открыл евреям прежде запретную дорогу в Англию.

жали, кривились и белели. Нечто подобное произошло на одной из вечерних проверок в феврале. Тогда за виртуозно матерщинный ответ Миссис Морли (майору Пономарёву), нашему общему мучителю и ненавистнику всех поколений кадетов, старшина загремел на гарнизонную гауптвахту, а оттуда был направлен «на предмет определения годности для дальнейшего прохождения службы» в горвоенкомат. Для строевой службы Огарков не годен: грудь, руки и плечи в синих плёнках шрамов: два раза горел в танке. А вот лицо совершенно чистое: матово-белая кожа, под чёрным чубом – коричневатого-горячие глаза...

– Это образец явно не парламентского ответа, – заметил Женька Сушков в тот день после отбоя. – Ответ дышал страстью, самобытностью и подлинной поэзией. – Братья-кадеты, это заметное явление в общественной жизни! И ознаменовалось оно лишением свобода – исконной расплатой всякого дарования за новые пути и формы движения. Воздадим ему должное пороссячьим храпом. – И он громко с привизгиваньем зевнул. Женьку занимает один вопрос: как стать невидимкой. Он бредит этим ещё с 5-й роты, начитавшись всякой ерунды...

На Шубине устный период нашей «галантной» училищной литературы пресёкся прочно и бесповоротно. За короткие месяцы знакомства оба класса выпускной роты твёрдо усвоили: Шубин – бабник и бабник первостатейный, что отнюдь не является в наших глазах недостатком. Однако этот

ладный, красивый своей особенной «пшеничной» красотой славянин с доверчивой улыбкой на сочно вырезанных губах, умеет, сохраняя дружеский тон, настоять на своём. Он один из немногих, кого мы отпускаем без «декамероновых» исповедей. В училище Шубин для меня – «гвардии старший сержант», здесь же, на пристани, – просто Иван, а то и Лёша. Впрочем, с шубинской славой бабника вполне может поспорничать ефрейтор Лебедев из музввода по прозвищу Автоё... Это от него пошло жеребьячье присловие: «Жизнь надо прожить так, чтобы от... остались одни шкурки!..» При всём том Лебедев ужасно неказист. Меня раздражают его пошлые ухватки. Да что там! Он пошёл – с головы до пят пошёл! И даже пошёл его затылок, когда он аршинно прямой, длинно поспекает в ногу (музввод всегда марширует во главе колонны), натужливо заталкивая в кларнет воздух, или, сняв посеребрянный мундштук, смахивает на ходу слюну...

А у Шубина глаза омутной голубизны. Когда он смотрит, проваливаешься в эту голубизну, а если заговорит с улыбкой – пошлётся всё к черту и пошёл выполнять самый гадкий из гадких приказов. Улыбается, ровно распахивает себя. Даже Миссис Морли благоволит к Шубину.

Миссис Морли!.. Я улыбаюсь. Почему этого коренастого мясистого майора без шеи окрестили столь диковинно? Никто и не пытается объяснить. Прозвище перекочевало к нам вместе с майором от ушедших поколений выпускников. Когда он чересчур досажает, Кайзер сзывает своих трубадуров

на площадку 3-го этажа. Рота замирает, когда Кайзер голосом, точь-в-точь, как у заместителя начальника училища по строевой части полковника Бабанова, трубно кличет: «Дежурный по роте!»

Майор Пономарёв рысью выбегает из канцелярии, на ходу прочищая горло для отдачи рапорта.

«Дежурный по роте!..» – уже с нотками начальственного нетерпения сварливо вопрошает Кайзер.

«Я!» – преданно выдыхает майор с площадки 2-го этажа – там пост дневального.

Тогда Кайзер и его трубадуры: Генка Шепелев и Лёнька Расчёскин по прозвищу Фрей – хором, выпевая каждую букву, режут сверху: «Хрен на!..» А Фрей ещё дурным голосом причитает: «Морли! Ах, миссис Морли! Когда ты разбрюхатишься, Морли?!»

Рота гогочет. И даже офицеры-воспитатели посмеиваются глазами, но лишь глазами, потому что тут же следует зычная команда подполковника Лёвушкина на общее построение. И муштруют нас зверски, но мы... мы молчим. Нас лишают увольнений – мы всё равно молчим.

В общем-то, муштровка наше обычно-обыденное состояние. Чёрт с ним, пусть гоняют! Наши чувства привыкли и задубели от постоянных семилетних упражнений в шагистике. Случалось, и не раз, нас гоняли по два часа без роздыха по сумасшедшей заволжской жаре. От пыли мы становились серые, от жажды наши языки слипались, от пота гимнастёр-

ки не только на спине, но и на груди темнели обширными пятнами.

«Выше ногу! Выше ногу!» – в такт поступи выводят наши майоры и капитаны: боевые майоры и капитаны с нашивками ранений и колодками наград, полученных не за выслугу в канцеляриях. Лишь у Миссис Морли всего один «полтинник» на кителе – медаль за выслугу лет («и на груди его широкой висел полтинник одинокий»). Ах, штабная штучка, этот Миссис Морли!..

Несмотря на повторы, приём действует безотказно. В дни своих дежурств майор совершенно теряет голову в служебном рвении. Голос начальника выше разума. И Миссис Морли каждый раз послушно трусит на клич Кайзера.

И всё время от времени повторяется (после мы расширим сей приём и на майора Красухина).

И никому не жаль Миссис Морли, кроме старшины Лопатина, который за это называет нас «чудиками». Вытянув шею, он обходит шеренги взводов. Лопатину неймётся проведать и доложить по команде, кто смеет оскорблять майора, кто «закопёрщик». Праведно чисты наши очи. Преданность и свет этой преданности в наших лицах. Точно на ширину приклада развёрнуты носки. А ну возьми нас...



Парфен, дед Юрия Петровича Власова, с женой Ольгой и сыном Петром. Начало XX в.

По отцу родовая линия – от воронежских крестьян. Однако дед был права не подневольного – вспыльчивый, широкогрудый, со смоляной окладистой бородой. И занятие – приставлен к лошадям, не кучер. Знал их, выхаживал. За то и ценили. И сейчас с фотографии семидесятилетней давности на меня смотрят бешено-пронзительные глаза деда. Он был на восемнадцать

лет старше моей бабушки Ольги, но на фотографии она с ним в одни годы. Бабушка была в девках у помещицы. Отличалась сердечностью и ласковой русской мягкостью. Я помню ее.

Юрий Власов

А уж в дежурство Миссис Морли рота стонет от взысканий и скрипучего баска: «Я вас беру на карандаш!», – что означает запись в личный кондуит Миссис Морли.

Тогда мы взываем к мщению Кайзера. И всё повторяется...

В то же время верность воинскому долг, как и верность кадетскому братству, имеет над нами власть неограниченную и безусловную. Тут непозволительна даже лёгкая насмешливость. Традиции российского оружия и дух братства делают нас непоколебимыми в преданности своему назначению.

Слово «карьер» для нас оскорбительно. В нём жадность к положению и шаткость перед испытаниями грядущего. Мы заносчиво безразличны к судьбе. Она не может быть предметом торг или выгод. Нами повелевает история... Да, да, не меньше, не больше...

Ах, Миссис Морли! Почём фиалки, Миссис Морли?!..

В строю, равняясь, должен видеть грудь третьего человека... Крепи швабру, братва! Всем опоздать, братва, тогда никто в ответе! Полундра, Бабанин прёт! Всякая кривая вокруг начальства короче прямой мимо начальства.

Где чернильница, братва?! Ломай салазки Богачёву!

Крась яйца, Дёмке! Пасха!

Всем, кто переступит порог класса, салазки, штаны долой, сотвори́й Пасху!..

Для встречи слева, слуша-а-ай!..

Мы чтим «кадетское» братство. В нём поклонение удальству, гордость погонями. Эти погоны на наших плечах с тех лет, когда все прочие мальчишки ещё путаются в юбках бабок и матерей. Я свои надел, к примеру, в десять лет... Теперь я – старший вице-сержант, то бишь заменяю Шубина по службе...

* * *

Когда Шубин прознал, что я завзятый охотник и предложил пострелять уток у него на родине, в километрах шестидесяти ниже по течению Волги, я согласился. Нет, я не согласился, я возликовал! Вырваться из казармы – Бог мой! – не радость ли! Охота 1-го, 2 мая – блаженнейшие дни без команд и казармы! Новые лица! Бог мой, как близки и в то же время пресно схожи лица моих товарищей! По 11 месяцев в году мы неразлучны. Это слишком, слишком, други мои! Забыть на время азбуку обязательных слов – это такой дар!

Итак, у Шубина служебное предписание на двоих, у меня – отпускной жетон. Будущая жизнь, чокнемся сердце о сердце!..

Я обожаю охоту, и в каптёрке у старшины Лопатина моё

одноствольное ижевское ружье, то самое, что в чехле за плечом. И я мечтаю по-настоящему опробовать этот «самопал» – подарок моего жадноватого дяди.

Первый раз, как это ни покажется неправдоподобно, меня зазвал на охоту преподаватель литературы подполковник Гурьев, человек по виду и привычкам сугубо штатский. Литературу он не преподает, а исповедует. На уроках он творит «молитву», посвящая нас в русскую словесность.

В моей памяти навсегда урок, когда он читал отрывок из пушкинской повести “Выстрел”. Всё в нём дышало счастьем и свободой пушкинского слога. Когда он дошёл до встречи Сильвио с графом, мы были уже «пьяны».

Гурьев спустился с кафедры и шагнул к первой парте. Не открыл, а именно распахнул книгу, было закрытую, и продолжая:

«Ты не узнал меня, граф?» – сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» – закричал я и, признаюсь, я почувствовал, как волосы встали на мне дыбом...»

И все мы тоже почувствовали, как волосы у нас встали дыбом. Души наши пронзил Гурьевский стон, и крик одновременно: «Сильвио!» И такой жуткий, будто Гурьев тут, сейчас узрел свою гибель. Стон отозвался по длинному и навсегда хмурому коридору во всех классах...

Мы после долго становились в позу Гурьева и орали: «Сильвио!!» А из угла кто-нибудь шипел в ответ: «Жалею, что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля

тяжела».

Однажды Гурьев застал Генку Ляпунова, когда тот огрызался кому-то запальчиво и нецензурно. Он не наказал его, но с тех пор отказался величать по фамилии или званию: «суворовец». И по сию пору вызывает его на уроках кратко: «Матерянин, к доске» – и все понимают, что к доске вызван Генка.

Следующим просветителем по части местной охоты явился старшина Лопатин. Он с бесшабашной уверенностью повёл меня за город. Водил не по заячьим следам, а накатанным зимником. Скоро у левого валенка Лопатина оторвалась подшивная подметка, и всю остальную прогулку старшина оглашал воздух одним из самых замысловатых ругательств, которые мне доводилось слышать. Во всяком случае, когда на утреннем построении, справляя обязанности старшего вице-сержанта и проверяя чистоту подворотничков, я как бы невзначай обронил это лопатинское «изречение», взвод замер в радостном изумлении, и погода уже вся рота отозвалась лошадиным гоготом. Впрочем, через полгода оно померкло перед огарковским. Тем самым, которым он стеганул тогда Миссис Морли. Так судьба свела нас с двумя выдающимися матеряниками: Лопатиным и Огарковым.

– В Лопатинском – грубость восприятия, я бы сказал, примитивность натуры, – заметил в тот раз после отбоя Мишка Штиглиц.

– Дадено точно! – завопил дурашливо Димка Мельников.

И мы заржали. И так громко, что через минуту мигнул слабенький жёлтый свет. Затем грохнул сапог по двери. Это лягнул дверь дежурный офицер. Сверху сорвалась швабра. И, выждав ещё (погода мог сверзнуться ещё какой-нибудь предмет, «заряженный» на замедление), на пороге появился дежурный офицер: зыбкое пятно в кастратно-немощном освещении.

– Встать! – приказал он.

И мы замерли каждый у спинки койки – и все без кальсон, согласно строгому училищному канону. Через четверть часа нас помиловали. Свет погас. А Пашка Долгополов водрузил над дверью свой сапог вместо реквизированной швабры.

– Так вот, смутьяны, – продолжил свой разбор Кайзер. – Разве это мат? Это народный фольклор.

И мы снова заржали, но не громко, потому что уже схлопотали тридцать минут «шагистики» – муштры назавтра в счёт дневной прогулки...

Старшина Лопатин, не досчитав в своей каптёрке, или, как её ещё называют, цейхгауз, пары, другой портянок в банный день, которые конечно же, никто из нас не присваивал, обычно заявлялся на вечернюю проверку и после переклички с разрешения дежурного офицера разражался гневными обличениями, которые кончал, независимо от содержания, одним и тем же вопросом: «Сколько вам Родиной было дадено портянок?..»

И в тон старшине звучало растяжное мяуканье: достовер-

нейшие интонации и тембр Лопатина! И всякий раз дежурный офицер пялился на старшину с болезненным недоумением. Затем наступал «кризис отношений» – так называли мы стояние навтыжку до полуночи и дознание, кто виновник оскорбления старшины.

Спустя месяц – другой сцена повторялась, потому что недосчитав портянки, а владел счётом старшина скверно, Лопатин впадал в отчаяние. Этот бравый служака ухитрился все пять лет войны держаться от передовой никак не ближе линии Урал – Средняя Азия. Мы её называли «Атлантическим валом старшины Лопатина». В наших глазах за всё время ниже стоял лишь сержант Голубкин, благоухавший с утра до ночи дешёвым одеколоном, который за доступностью скорого приобретения предпочитал всем напиткам. Он «освежался» из запасов училищной лавки на день несколько раз. Молва прочила ему слепоту. И впрямь, красные глаза его вечно слезились. Он буквально промелькнул перед нами, исчезнув из училища через два – три месяца, однако заронив по себе прочную «одеколонную» память. В училищной лавке тогда стойко удерживался одеколонный дефицит. В лавке хозяйничала вёрткая, маленькая и вызывающе пышная продавщица Груня.

Ах, Груня! Из-за неё мы всем взводом отлупили Андрюху Калужникова. Нет, какое нахальство! Кто бы мог подумать! В такой крестьянской бережливости Груня приспособила одно из подвальных помещений на складе под личную бань-

ку. Ещё бы, в батареях сколько угодно горячей воды. И никто тебя не торопит и чисто – сама себе хозяйка. И сток для воды, как в бане, – щель, забранная решеткой в полу.

Как Андрюха набрёл на дубовую подвальную дверь и за отпавшей и разболтанной оковкой двери обнаружил сдобную, невинно распаренную Груню, одним ангелам известно! Но у Груни самые обильные из всех виданных нами грудей. Взвешивая товар, она по нечаянности совсем нередко теснит ими гири. Видимо, это зрелище в его, так сказать, первоизданном виде, и сразило Андрюху, в общем-то, застенчивого и задушевного до нелепости.

Лавка на замке, а должна работать. В поисках Груни Лёшка Голубев и Кайзер спустились в подвал: Кайзер получил от тётки немного «полуполтинников», как он называл деньги, и примчался за батоном белого и конфетами-подушечками. По дороге к нему припал Лёшка Голубев – гениальный попрошайка, который никогда ничего не просит, но всегда оказывается там, где угощение неотвратимо.

«Жги души, огонь бросай в сердца!» – так начиналась лихая «кадетская» песня о Груне. Далее следует невозможная, хоть и остроумная похабщина. Песню венчают слова: «Всегда доволен будь своим! Не трогай ничего чужого!»

Андрюху застигли с поличным – у дверной скважины. Враньё, подглядыванье, наушничанье, нытьё и трусость – за то бьют и били у нас без жалости, до крови. Разумеется, Андрюхе перепало, однако, в душе мы сочувствовали ему.

Прежде мы потребовали от него подробный отчет об увиденном.



Власова Мария Даниловна (1905–1987), мама, из старин-

ного казачьего рода на Кубани.

Моя мама долго сохраняла силу. Помню, как осрамила она носильщика: тот не мог заложить на багажную сетку шестидесятикилограммовый мешок с ее любимыми кубанскими яблоками. Мама отстранила его и одним движением сунула мешок под потолок, а ей было под шестьдесят. И до старости она сохраняла стройность и женственность.

Юрий Власов

То были минуты не следственной тишины. Нет, они внезапно обрели тяжесть. Невозможно глубокую, будто все задохнулись. Лишь Кайзеру предоставлялось право наводящих вопросов.

Ах, Груня, дорогая, конца у спора нет,
Что больше грудь тугая иль нашенский буфет?
Атака с фронта – сила!
Но тут наоборот:
К проблеме трудной с тыла был совершён подход...

Дабы соблазн не совратил ещё кого-либо, мы отключили горячую воду в очередной банный денёк Груни, а затем порали дурными голосами в дверь, из щелей которой ядовитыми тварями многоруко извивался белесый парок. Груня с неделю прихварывала, на двери ларька торчал пудовый замок.

– Нет, болезнь поразила её не от холодной вода, которой

пришлось домываться, и нет от испуга, – утверждал Кайзер, в ней просто заговорил девичий стыд, утраченный вместе с первыми залпами недавней войны.

Почему он так решил, мы не стали выяснять. Тогда многие судьбы решала контрольная по алгебре...

Андрюха был прощён после зажигательной речи Сашки Лескова на вечернем обсуждении в спальне после отбоя:

– ...Нет, это не Андрей Викторович, это всё воспаленное воображение юности! Он не преступник – он жертва! Каков искус для бедного Андрея! А что сделали наши отцы-командиры для усмирения своей плоти? Граждане судьи, «кадеты», разве так безмятежны их лица? Разве не сворачивают они к ней навстречу с блеском в очах? Андрей Викторович виновен, но подлежит прощению с учётом падения нравов в нашей доблестной армейской семье... – и заключил неожиданно: – Ребята, кто завтра со мной в увольнение на 3-ю серию «Тарзана»? В «Пионере» крутят...

Немота поразила шеренги железных коек. Дружно молчали все 34 судьи (тогда ещё не был отчислен из училища Валерка Грачёв). Мрак безмесячной ночи покрывал наши лица.

О Груне Шубин отозвался предельно кратко:

– Ну и здорова! Хоть об дорогу бей!.. Такая уж отпустит!..

Мы торчали в строю, но не в ротном зале, а на дворе, куда сходились роты к торжественному выносу знамени училища. Я стоял в затылок за Шубиным, у правого фланга сво-

его взвода. Наш гвардии капитан Суров должен был стоять ещё правее, но взводных офицеров собрал командир роты.

Груня простодушно нежилась на солнышке возле лавки.

– Как это отпустит? – бормотнул из 2-й шеренги Димка Мельников.

И сразу несколько голосов загундосили с просьбой уточнить. И гвардии старший сержант уточнил... И двор вместе с музвзводом качнулся в наших глазах. И все мы почувствовали себя обожжёнными бесстыдством ласк Груни, а сама она поплыла в наших глазах белоголым маревом...

* * *

Я киваю девушке: билет добудем. Вообще имя девушки не по мне. Особенно сокращенное: То́ма. Вроде клички...

Тамара истощенно маленькая. Её головка как раз в уровень с началом тех самых складок на гимнастёрке, за которые нас песочат офицеры. У неё удлиненное, вовсе не чувашское лицо под ветхим до прозрачности застиранным платком. Одета она в блестящую чёрную кофту из плюша и тяжёлую складчатую юбку такого же цвета. Я поглядываю на женщин: будто сговорились – все в одном. И у каждой через плечо сумки на верёвке или просто надвое вывешенный мешок. И всё серое, чёрное, латаное...

Вкрадчиво елеен голос гвардии старшего сержанта, он всё не может уговорить военного кассира и напропалую тешит

его анекдотами, благо у окошка мы одни. Из окошка квохтанье – до чего ж противно смеётся этот Квинтилий Вар!

– Я же соображаю, к кому обращаться, товарищ младший лейтенант. К другому не сунулся бы...

Не верю ушам. После смеха опять панихида:

– ...вот два предписания передо мной, а третье? На каком основании должен отпустить третий билет да ещё в другое направление? Шарамыжничаете, сержант!..

Шубин отбивается новым анекдотом.

– Ох, злодей! – бормочет сквозь квохтанье младший лейтенант. – Язви тебя в печёнку!..

У нас дружная неприязнь к узким погонам – общим для всех интендантских и прочих нестроевых служб. Настоящий офицер – строевой; настоящие погоны – широкие, золотые, с окантовкой пехотной, артиллерийской или танковой служб. Авиация нас не прельщает. Там – служба, но где фронт? Где шеренги солдат? Где оружие в руках? Где печатный шаг рот и батальонов?

Мы заранее жалеем тех из нас, кто по хилости зрения обречён на откомандирование в нестроевые училища. Судьба – не позавидуешь!

Заглядываю через плечо Шубина в окошко. Так и есть – интендант! И на узких погончиках – всего лишь по звёздочке. Тоже мне железный лорд-протектор!⁴ Финансовый ге-

⁴ Неслыханно, 13 вандемьера (5 октября) 1795 года Наполеон выставил артиллерию в городе, на площади самого Парижа, и расстрелял мятежных сторонни-

ний! Молодой здоровый мужчина не может согласиться на такие погоны. А этот вдобавок ещё и кассир. Офицер на бабьей должности. Баба в погончиках! И в войну, поди, как Лопатин или Миссис Морли, по тылам околачивался...

Во взводе нас – 33 и лишь у семерых живы отцы. Мы знаем этот счёт не по учебникам. Мы училище убитых отцов...

Кто и в оккупации победовал, а кто – и с беженцами под пулями. Вон у Жорки Ласточкина 3 фронтовые медали. Да такие погоны интенданта – почти синоним душевной изворотливости. Назначение военного человека – риск боевой службы, тяготы службы, испытание на мужество. Мы воспитаны в благоговейном уважении к офицерскому чину. Я не посмею сесть без разрешения, если рядом офицер. Я не посмею без разрешения офицера обратиться к младшему по званию. Выправка должна соответствовать высокому назначению воинской службы.

А что, поди, я своё лейтенантство получу в одно время с этим кассиром? Ещё два месяца до выпуска, после – два года в училище... С весёлым и снисходительным любопытством перегибаюсь и заглядываю в окошко. Почём фиалки? Привет вам, доблестный гренадер от конторской книги! Вива жизнь! Мировая штука жизнь! Что за прелесть эти лейтенантские эполеты! Уж я покажу всем, каким должен быть офицер! От меня ни слова жалобы не услышишь! На любое испытание согласен. Для того и служу...

Неужели настанет последний день в училище?..

Тянет резину этот Квинтилий Вар. Смотрю на гражданские кассы – хвосты до церкви. Эта церковь красной кирпичной кладки времён Петра I (1672–1725). Вокруг чугунной ограды докручивает маршрут главный номер местного трамвая. Городские улицы обрываются у Волги. Зимой с них лихо несут лыжи. Если рискнуть и начать пораньше, можно прокатить целый квартал. Там у домов – ледяные наплывы от водоразборных колонок и подмёрзших помоев. Сгоняешь прохожих свистом – и летишь...

Смотрю на Тамару: не верит, что добудем билет. Вон уже нос красный, гляди заплачет...

По берегу – щепы, мазутные пятна: вода уже на убыль. Натянуты ржавые цепи креплений вокзала...

Неужели всего два года – и я лейтенант? Прощай, училищная одинаковость дней! Прощай, пресные занятия! Я буду свободен, независим, кроме службы, естественно.

Неужели та новая жизнь столь близка? Неужели сокровенные мечты станут плотью, не выдумкой?

Жибо стрев динпис гра!

Письмена девиза сплавляются в сознании во множество новых заманчиво-замечательных слов. В упор разглядываю их. Чист, прозрачен хмель желаний.

Непонимающе смотрю на линияющую гимнастерку. А-а, Шубин... Смотрю на часы: всего двенадцать минут, как подошли к кассе. Удивительно: на ту жизнь в сознании понадобится

лось каких-то двенадцать минут, а чтобы прожить её, нужны годы. Как совместить это время, если оно измеряет одно и то же? Как в минуты умещаются года? Что за этой изменчивостью скорости времени?..

Шубин оборачивается и подмигивает. Браво, Шубин! Наш легион выстоял! К дьяволу бумажного Квинтилия Вара! Интендант макает перо в пузатую «непроливашку» и, наклонив голову, затейливо рисует буквы.

Шинель держу на руке – это нарушение формы одежды, но в шинели постыло. Шинель – это долгая зима, это беспросветность казарменных будней. Держу шинель на руке, будто от этого зависит, быть лету или нет.

Под гармошку срываются в визг пьяные женские голоса. Толпа похохатывает на бесстыжие байки. А гармошка заливающая, с колокольцами! Стучат костыли инвалидов. В толчее, у схода, торгуют степными тюльпанами, семечками, домашними леденцами и ещё кое-чем... По берегу слоняются парни в довоенного фасона отцовских костюмах. С ревностью сравниваю клёши: нет, мои шире (Лопатин обожает слово «ширше – ну хлебом не корми»)...

Жибо стрев динпис гра! Я готов к испытаниям, потерям и любым невзгодам. Жалеть себя – значит, обрезать путь в будущее. Это всё равно, что терять себя или отдавать во власть другому.

Отрекись от своего тела – служи духу, идее!

Да, я почитаю жизнь! Почитаю всякую: плохую, хорошую!

И я уверен: лжёт проповедник, коли умирает, не сотворив из идей своего мира или служа идеям отцов и дедов!

Гвардии старший сержант отдаёт честь кассовому окошечку и отходит.

– Я уж засомневался, сразишь ли ты этого гоплита, – говорю я.



Власов Пётр Парфёнович (1905–1953), отец. Чрезвычайный и полномочный посол в Бирме. Полковник, кадровый разведчик Главного разведывательного Управления Советской Армии. В 1942–1945 гг. возглавлял опергруппу при Мао-Цзе-Дуне.

Мой отец юность отстучал молотком в паровозных котлах на Воронежском ремонтном заводе. До самой смерти отец помнил гул от ударов по котлу. Знали ли дед Парфен, что его сын, мой отец, станет представителем Коминтерна в Яньани под фамилией Владимиров и заставит считаться со своими волей и умом Председателя Мао? Да так считаться, что в больнице перед смертью отца будет прилежно навещать жена Председателя – Цзян Цин. Тому я был свидетель...

Юрий Власов

– Что за зверь?

– Гоплит – тяжёловооруженный воин. Из истории древнего Рима.

– Фашистам ноги перебили, а тут!.. Жила он самая обыкновенная! Летами ушёл, а умом не дошёл, седой дурень. Вот и сидит за кассой, куражится от скуки.

– Слушай, Иван, билет ты добыл, но не принуждай возвращать должок. Не трогай Тамару.

Гвардии старший сержант размахивает билетом и мягчит губы в улыбке:

– Ласковая, поди.

Вздёрнув подбородок, сжав губы, смотрю вперёд. Ремень туго опоясывает талию: узка, и гибка она стволами мышц. Лязг подковок на сапогах мерещится малиновым звоном.

Все эти люди вокруг разменяли на житейские забавы главное – необходимость цели, постижение цели. Для меня самое

существенное в жизни – знания. Как можно больше знать! И мир распахнется мне! Чеканю шаг. Не сутулиться! Не походить на усталость людей. Презираю заботы о благополучии.

Удел сильных – оберегать, продвигать жизнь. Я уже давно поставил беспощадность к себе в правило. Нет ничего унижительнее, чем жалость, обращённая на себя. Слабые уstraивают свои жизни – и обретают старость в каждом дне...

Краем глаза не выпускаю из виду свой погон. В полоске алого сукна моя принадлежность к тому, что есть и будет испытанием мужественности. В каждом шаге чудится светлая справедливость сильных. Поджимаюсь мышцами. Упруг, быстр и ловок.

Раздвигаем на сходнях толпу. Похрустывает, шелестит подсолнечная шелуха. Кисло отдаёт тряпьем.

– Откуда таковские? – сипит снизу безногий.

Он сер от грязи и лохмотьев. Бывший солдат.

– Волгари, браток. Поди, шабры с тобой, – вдруг с каким-то оканьем в басок отвечает Шубин.

– Ей-ей, гусары!

И бабий голос:

– Подержаться бы... До войны только такие водились.

– А подержись, не откажу...

– Тот, сзади, чисто цветок...

– Почём молочишко? – Шубин поглаживает бидон за плечами рослой грудастой женщины.

– Эта тебя отоварит, браток...

– А мальчик... фасонистый... Ты целованный али нет?..

– Губы у него, глянь, Тось: ровно покрашенные...

– Я б его в баньке сама вымыла, до самых стопочек...

Сколько тебе лет, парень?..

– А что, наша Настя обоим подмахнёт. Чай, тоже безмужняя. Война на себе наших мужиков женила. Косточек не собрать. Где они, наши милые?..

– Да ладно тебе ныть! Опять завела. Ушла война, ушла, забудь...

Выдираемся из толпы. Шубин кивает назад:

– Та, с бидонами, высокого градуса! В теле. Такая коли все обороты включит...

У гвардии старшего сержанта тяжёлая, припадающая походка. «По сорок вёрст марша со станиной “максима” на горбу, – не раз объяснял он. – До мяса стирал ноги. С тех пор и не хочу, а валюсь с ноги на ногу».

Половодье: тот берег едва очерчен круглыми башенками нефтехранилищ. Почему я смотрю на влажный песок под ногами, потом на железнодорожный мост, на тот берег? Всю жизнь вот так: я вроде чучела рядом с женщиной, ровно связывает она меня, да так туго...

Стараюсь держаться поразвязнее. Расстёгиваю пуговицы стоячего воротничка. Голос Тамары тихий, несмелый, словно извиняется. Она отсчитывает деньги.

– А вы беспокоились! – выпаливаю я. – Есть билет.

– Как благодарить! – Тамара суетливо поднимает с песка

узел, сумку. Она тоже в кирзовых, солдатских сапогах. Шубин перехватывает вещи:

– Пособим, Тома.

– Вы такие добрые!

– Для кого как, Тома. Для тебя – всегда.

– Да что ж сторонитесь? – обращается она ко мне. – Глаза красные? Я не трахомная, не бойтесь! У нас в селе есть трахомные, а я чистая. Вас как зовут?

– Иван Шубин.

– Пётр Шмелёв.

И тут я замечаю патруль. Околыш фуражки у офицера – черный.

– Иван, шухер! – шепчу я. – Патруль! Танкисты!

– Ты погодь, – гвардии старший сержант всовывает билет Тамаре в карманчик жакета на груди.

По-моему слишком глубоко и долго тонут его пальцы в карманчике.

– А ну, Петя, ноги в руки! Мы сейчас, Тома!

Я на всякий случай застегиваю воротник и надеваю шинель.

У гвардии старшего сержанта малиновый кант пехотинца, а эти, в патруле, танкисты – и мы добросовестно буравим толпу.

– Чёрт их принес! Гуляй с девкой в роще, а помни о теще. – Шубин тоже на ходу надевает шинель, перепоясывается.

Мы затёсываемся в толпу у сходен. Заметут в комендантуру! Придраться всегда можно. Прав тот, у кого больше прав... Вива, мой старший сержант! Вовремя отступить – это уже зрелость командира! Теперь этот «бронетанковый клин» нам не опасен. Мы уже одеты по уставному, факт. У гвардии старшего сержанта отпускное предписание по форме, у меня – алюминиевый отпускной жетон с моим личным знаком «86», тоже факт, но в гарнизоне неугасимая вражда между пехотинцами и танкистами. На танцевальных площадках, в парках и летних кинотеатрах в дни увольнений – настоящие рукопашные. Нас, «кадетов», обычно не трогают.

– Аккуратная, укладистая, – мечтательно шепчет Шубин. – А с лица не воду пить.

– О ком ты?

– Да Томка. Вон она, слезиночка!

– Ты что же, вроде покупаешь её?

– Сама адресок спросила. Через месяц ей назад в техникум.

– И ты с ней? Ты?!..

– Ишь, пирожки с казённой начинкой. – Иван переключает внимание на патруль. – Глянь, тот с краю: злая рожа. Запусти бы нас. Как пить дать, запусти. Придрались бы...

Танкисты с красными патрульными повязками на руках бредут к летним купальням.

– Верить, – говорит Шубин, – не выношу караульную службу. Своего же брата ловить? С какой стороны не подой-

ди, а не пригоден я к этому.

– Что она, гулящая? – допытываюсь я и чувствую, как падаёт мой голос.

– Дурень ты, хоть и вымахал под два метра. Глянь: горько, пусто – много ли радостей? По шею в крови стояли. А годы-то, Петя! Как сдвинула война годы! Всем миром шагнули коли не в старость, но уж из молодых лет точно.

Над обрывом, затёкшим помоями, начинает жиденько выбивать такты оркестр. Это в ресторане “Триумф”. После училищного – слышать тошно. За нашим музыкальным взводом слава образцового во всём Приволжском военном округе. Как здорово он в обед сыграл марш лейб-гвардии Измайловского полка, «Пажеский» марш и звонкий марш «Гренадер»!

По традиции в праздничные дни мы обедаем под музыку. Оркестр устраивается в посудной, возле кухни. У каждой роты – своя столовая, и ещё в этот день каждому полагается пирожное. «Праздничная разблюдовка», – острят ребята.

* * *

Вдруг представляю, как вернусь с охоты, зайду на кухню с утками и как сбегутся официантки. Что утки!.. Как замечательно хороши курсантские погоны с золотом широкой окантовки! Уже в сентябре по выпуску буду целовать знамя училища в обмундировке курсанта!

Жибо стрев динпис гра!

Я ведь прочно знаю: старость это тогда, когда нет цели, нет смысла. Она может быть и в 18 лет. Сколько я видел таких старых с румянцем на щеках и гладкой кожей! Однако они уже помечены старостью. Она в них, она загоняет их в стойла тусклых, жалостливых дней!..

А как Кайзер управляет голосом! Затянет фальцетом – вроде подполковник Лосев, не отличишь! Правда, Лосевым его ни один воспитанник не зовёт. Для нас он – Жмурик.

Когда мы были в младших ротах, Жмурик приказывал старшине Рябову зашивать карманы, чтоб не держали там руки. После третьего замечания всегда зашивали. Прочие наказания тоже вели родословную от царского кадетского корпуса, который Жмурик окончил в 1910 году: стояние “на часах” по стойке “смирно” по десять, двадцать, сорок минут, “цуканье” в строю за малейший шёпот или шевеление. Стой, ровно застыл навечно...

«Строй – это безгласное движение», – внушал он, и мы знали: сейчас последуют бесконечные «кругом, марш!» Он добивался и вырабатывал повиновение, так сказать, через ноги, но однажды удивил нас. Это случилось, когда его забрали от нас и снова посадили на самую младшую роту. Перед отбоем мы заспорили в классе о гибели Пушкина. Кто поносил Геккерна и Дантеса, кто Николая I и Бенкендорфа; как водится, доставалось и Наталье Гончаровой.

Подслушивать Жмурик не смел, да такое и в голову нико-

му из нас не пришло бы, даже Миссис Морли не опускается до подобного.

Жмурик вошёл прямо, недвижно держа седую голову. Разжал губы в сухой усмешке. Мы стояли «смирно»: кто в кальсонах, кто в брюках, а кто и просто в одной нательной рубашке – целая ватага юных голых парней и мужчин, ибо некоторые уже пользовались благосклонностью юных, а то и зрелых дам. Ребята все, как на подбор. От белизны и чистоты тел аж воздух светится... Жмурик не стал отчитывать за нарушение формы одежды. Не меня выражения лица, сказал чеканно:



Дети осажденной Москвы. 1941

Смутно помню довоенную Москву – всю в рельсах трам-

ваев, еще тесную, булыжную и по всем окраинам деревянную, глухую заборами. А за окраинами – сосновые боры, луга. Я босиком бегал купаться на Москву-реку.

Москва военная – в памяти тросты аэростатов, синева прожекторов, рев сирен. В парках валяли вековые деревья, разделявали и закатывали на щели. Эти глубокие щели выкапывали тут же, возле клумб, аллей, фонтанов. И, конечно, стекла – все в нахлестах бумажных полос. Весь огромный город в бумажных лентах, черный с первыми сумерками – ни огонька, лунно-призрачный.

Разве думал я мальчишкой, гоня зимними вечерами консервную банку вместо мяча по ледяной мостовой, что настанет время, и я буду пробовать в этом родном мне городе свою силу и свои первые мировые рекорды?

Юрий Власов

– Это пошлость – жалеть таких людей! – И после паузы пояснил: – Это не мои слова. Так Пешков изволил выразиться на смерть Льва Толстого. – Смерил нас прищуром через пенсне и обронил: – Вольно.

Круто повернулся на каблуках и пошёл к двери. В дверях вдруг снова так же чётко повернулся и без всякого выражения сказал:

– Следует быть в вопросах беспощадным, а в ответах – сдержанным. Примите совет Пешкова. Достойный совет. А теперь марш в спальню! Через десять минут отбой. Взыщу за опоздание!

И ровно, правильно застучал каблуками по коридору. Как в присловье: редко шагает, да твёрдо ступает...

* * *

Капитан Екатерина Николаевна Куянцева и сейчас проповедует «Историю Древнего мира» в младших ротах. Этой властной военной даме несколько меньше сорока. Она ровная в плечах, ладная, хотя и плотная, но совсем не круглая, и роста маленького, при всём том довольно подвижная для своего особо приметно зада. Забавно она говорит: «Кадеш», всякий раз мило скашивая рот. По истории я учился на сплошные «пятёрки», но однажды она уличила меня за чтением «Аси» Тургенева, и я, естественно, не сумел повторить то, что она рассказывала. Взвод аж замер: Шмель – и на тебе, “двойк” по истории”! Я и сам взмок до самых портянок. Вот влип!

Воистину, нет таких трав, чтобы знать чужой нрав. На следующем уроке она снова вероломно выхватила меня к доске и, наверное, не менее получаса «мылила» по основным событиям истории Египта, Греции и Рима. Вообще-то это был нечестный ход. Столь далеко в прошлое не принято залезать. Это мы станем повторять, когда будем готовиться к экзаменам, но, что-то, видно, её основательно заело, а что – я не ведаю. Нет моей вины здесь, исключено...

Египет и, разумеется, хеттскую крепость Кадеш, а затем

историю Греции мы «проходили» целых три четверти назад, и она не сомневалась, что посрамит меня. А за что? Что я тут натворил? Подумаешь, читал на уроке, так я ж расплатился срамом «двойка». Она так вывела его тогда в журнале, что он остался похожим на жирного червяка. Мне померещилось, будто она провела пером по моему сердцу, даже почудилось, что я почернел лицом... Безжалостно, но заслуженно...

Я не напрасно надеялся на память. Выручила она меня и на сей раз. Я сыпал датами, словно считывая с листа, а схемы походов вычерчивал один за другим. Она ухлопала на меня пол-урока, но я держался стойко. Я даже подбавлял кое-что сверх учебного курса. Под конец губы у неё сложились в недовольный бутон. Военные дамы их не красят, а у неё они всегда алые (кому-то пришлись, а иначе с чего они такие полные и алые).

Хетты – это, в сущности, древние турки. Крепость Кадеш венчала высокий холм, почти гору. Вот взять её и решил Царь Царей Великий Рамсес. На подступах к крепости он угодил в ловушку. Лишь благодаря его мужеству египтяне не только не были разбиты, а малым числом шесть раз атаковали хеттов – и хетты отступили за реку...

Екатерина Николаевна крутилась на каблучках, глазела на меня снизу чёрно-карими очами, словно намеревалась прожечь насквозь, дабы осрамить ещё раз, но всё понапрасну. Похоже, она была даже изрядно огорошена. В классе установилась редкая тишина – я не встречал такой даже на ноч-

ном дневальстве после марш-броска роты с полной выкладкой по сорокоградусной степной жаре. Ребята не сомневались, вот-вот она срежет меня, подловит... Ну, попался Дядя Сэм! Второй «двойка» неминуем...

Лицо этой Кармен изошло малиновым оттенком и даже испариной, когда она выставляла мне «пятерку», но с тех пор на уроках Куянцевой я пребывал зверем, то есть всегда настороже, и не напрасно, ибо часто ловил её быстролётный ястребиный взгляд. Дабы не мучить себя сим обременительным вниманием, я за неделю «доколотил» учебник истории до самой последней странички, после перечёл ещё разок, так что запомнил, можно сказать, наизусть. Заодно и перечёл весь учебник сначала, от «титла». Пусть пороется в прошлом. Теперь меня не страшил внезапный вызов, и я позволил себя взирать на все её ястребиные прицеливания совершенно бестрепетно, без доли угодливости. Пусть пробует, пусть упражняется...

Она ещё раз, другой вызывала меня к доске, что заметно превышало обычное количество опросов за четверть, но я рассказывал всё и опять-таки подробнее учебника, поскольку прочёл за последние годы многое множество книг и статей по истории: единственно ради любопытства и любви к прошлому. За что она терзала меня, ума не приложу? Уж что-что, а историю я боготворил и занимался на совесть, даже по университетским учебникам. Мне было безнадежно скучно на её уроках, преподавала она усердно, но бездарно, порой

вгоняя класс в сон. Может, это и не так, а просто я уже всё это знал...

Надо признаться, я не только в свои отроческие годы млею от особенностей её «ходовой части», но и сейчас в свои 17, при всякой случайной встрече. Это ж надо видеть: где-то в подмышках начинался нежно волнующий выгиб. Куянцева не была грузной, хотя ноги у неё были мощные, однако, ручаюсь, не чересчур. Они вполне соразмерно подпирали широковатый почти плоский живот. Чистая виолончель! Убрать узенькие серебряные погончики – и чистая виолончель под зеленоватым офицерским платьем.

Я не шучу. Она, действительно, вся, как виолончель, только слегка укороченная, что нисколько её не умаляло. Мне нравились её руки, тоже небольшие, соразмерные росту, однако смугловатые и плавные в движениях, но эта узкая талия, этот раздвинутый подвижной зад! Смотреть, как она идёт, просто невозможно – для меня, разумеется... да, но почему лишь для меня?.. В чём и перед кем я провинился?!.. Я сознаю, чувства мои постыдны, нехорошо так смотреть не только на преподавателя, но и на женщину. Нет, клянусь, я не пялюсь. Я не посмею опуститься до такого! Впрочем, этого и не нужно было делать даже тогда, когда она вела у нас уроки, поскольку все 45 минут она возвышалась или на кафедре, или с указкой у карт-схем спиной к нам, или расхаживала по классу и при этом уже, хочешь-не хочешь, тоже полагалось смотреть на неё. В общем, меня влекло к её уро-

кам. Голос у неё невзрачный, а вот мне... нравился! А это перемещение в шаге платья сзади – просто электрический удар... а бедро, оно всегда прорисовывается, да какое оно, это бедро!

В душе я стыжусь себя, но кто, кто посадил всё это мне в душу, кто? Я не выдумываю, я избегал слушать развратные истории, не позволял себе думать о гадостях, а во мне это стыдное волнение... Они сами зарождаются... постыдные чувства и переживания...

Позже я стал тяготиться тем тайно-смутным, что сопрягалось с женщиной. Зависимость от женщины я стал ощущать властным стремлением сблизиться с нею (как, что – я и не смею представить), но это оскорбляет... Что-то чисто животное есть в этом...

Екатерина Николаевна... «Ястребиный коготок»...

Длинный коридор на 3-м этаже – из нынешнего расположения нашей роты. Он всегда уныло-сумрачный, прохладный. Его «александровский» пол, как я уже говорил, слегка схож с желобом: столько десятилетий его долбили ноги (и дореволюционные, и советские), последние годы особенно зло – юношеские, зверски-энергичные в яловых подкованных сапогах. Здесь, в этих коридорах, прошёл уже не один год моей жизни: всё отрочество и часть юности. Нескончаемые построения, маршировки (обязательно не в ногу, так как это 3-й этаж), переключки, разные проверки – и всё в строю, всё навтыжку, всё с наглухо замкнутым ртом...

А что до истории, не один Штиглиц тут в королях. Я просто больше помалкиваю, а читаю не меньше, если не больше – читаю жадно и безостановочно...

* * *

Волга за фальшбортом мутная талыми водами. Волны вертляво шлепают в пароходик. Возбуждаюсь новизной. С готовностью смеюсь шуткам гвардии старшего сержанта. Он всегда румян, а здесь, на ветру – во все щёки. И подбородок с ямочкой – тупой, массивный и с ямочкой. И голенища офицерских хромовых сапог спущены гармошкой. Эту моду мы в училище не принимаем, однако, кое-кто в армии отличается и подобным слободским шиком. Пилотка у нашего помкомвзвода заломлена на правую бровь. Именно правую, а не левую, как это часто мы видим в кино. Настоящий армейский шик – едва уловимый наклон фуражки к правой брови, но едва уловимый, иначе это вульгарно, от допотопного гарнизонного форса...

Пароходик загружен до отказа, но на палубе мы одни. Встречный ветерок смёл толпу в кубрик. Я и Шубин, было, спустились, но там такой смрад заношенного тряпья, дыша махорки и самогона!..

Непогода? Худо на ветру? Вздор!.. Слава новым дням! А ля багинет – в штыки, мои гренадеры!..

Верно, Кайзер! Какая военная необходимость взрывать

Кремль?! Мародёры в медвежьих киверах! Лучше прочих сказал о Наполеоне Пушкин: «Блистательный позор Франции»!..

История наполеоновского нашествия – моя слабость. Смешно, глупо, но до сих пор я переживаю ту боль и муку России. Она во мне каждым мгновением.

– Иван, а ты любил?

– Глянь, хоть чем-нибудь я сходствен с мерином?

– Да я не о том! Я о любви, о чувстве.

– И я о ней. Конечно, жалел...

– Ладно, Иван.



Саратов. Мне 10 лет.

Я поступил в Саратовское суворовское училище.

Юрий Власов

Блекнут, слабеют в памяти возня, крики и вся казарменная толчея. Блаженно резв ветер. С головы до пят остужен. Кажется, сей день давно стерёг меня. Славный день. Это такой подарок – поездка! Никто не будет орать команды. И, наконец, заткнётся сигнальный горн. Разве это не счастье?..

Уютно, горячо веет от длинного паровозного котла...

Тщедушный генерал Буонапарте искусен в управлении артиллерией! Эгалитэ, фратернитэ, либертэ! Картечью по мятежникам!..⁵

Всё верно, Наполеон свергал тиранов. Отблеск революционной Франции, раскрепощение Европы видели народы в поступи его гренадеров...

Трубить атаку! Сомкнуть ряды! Не отставать! С нами Бог! Да не посраим чести русской! Знамя вперёд! В штыки!..

Мечты, мечты... Отменная ноша: чехол, а в нём – охотничье ружьё и пряники. Полтора килограмма белых печатных пряников! По случаю праздника Груня привезла несколько мешков с базы. Чудно́ покупать без карточек! Пряники я обожаю до самозабвения...

⁵ При *Екатерине II* говаривали при дворе о вельможах и генералах, которые вдруг оказывались у неё в постели, пользуясь всяческими милостями, «*он в случае*».



А во главе России Александр I, тот самый, который принял трон из рук убийц коронованного отца и не покарал их. Вечно терзаемый сомнениями государь. Отца убили, а он принял скипетр, державу, корону и трон убитого отца. Примерный сын...

Перед смертью в сознании Александра бродили неясные образы и мысли превратить Россию в страну католическую. Он даже отправил в Ватикан генерала Мишó, но здесь смерть настигла императора. В Таганроге, он скоропостижно скончался от брюшного тифа...

...Взломав дверь, заговорщики ворвались в спальню Павла I. Начали искать – безуспешно!

«Явился генерал Бенигсен, высокого роста, флегматичный... – вспоминал полковник конной гвардии Н. А. Саблуков, – подошёл к камину, прислонился и увидел императора, спрятавшегося за экраном. Указав пальцем, Бенигсен сказал по-французски: “Вот он!” После чего Павла вытащили из прикрития...

Павел, сохраняя достоинство, спросил, что им угодно?.. Шталмейстер двора граф Николай Зубов, человек громадного роста и необыкновенной силы (один из многочислен-

ных любовников Екатерины II.⁶ – Ю.В.), будучи совершенно пьян, ударил Павла по руке и сказал: “Что ты так кричишь?!”

Император оттолкнул левую руку Зубова, на что последний, сжимая в руке массивную золотую табакерку, со всего размаха нанёс правой рукой удар в висок императора... тот без чувств повалился на пол. В ту же минуту француз-камердинер Зубова вскочил с ногами на живот императора, а Скарятин, офицер Измайловского полка, сняв висевший над кроватью собственный шарф императора, задушил его...»

Что за позорная и гадкая картина. Полковник Саблуков, оскорблённый происшедшим, а он нёс службу в Михайловском замке и достаточно знал Павла, навсегда покинул Россию. Он не пожелал иметь такую землю Родиной...

А что стоит объяснение Александра с умирающим Кутузовым в Бунцлау!

– Простишь ли ты меня, Михайло Илларионович?

– Я прощаю, государь... Но простит ли вас Россия?..

Молодчина этот чиновник, не убоялся рассказать современникам то, чему стал невольным свидетелем.

⁶ Из опочивальни *Екатерины II*, из её жирных объятий, гуртом расходились один за другим ошастливленные временщики. Жеребцы, что умели ублажать эту похотливую кобылу, становились богачами и... временщиками – пусть на недолго, пусть до следующего умельца, но они являлись в России величинами после императрицы. И вершили дела... После Петра Алексеевича правили бабы, кои не имели права править – даже сметь не имели... Однако так сложилось, что Россией веками правят и торжествуют временщики, но не «ты покорный им народ...» и не его славные и достойные сыны. В России, чтобы жить, надо забыть обо всём – иначе прошлое сожрёт тебя заживо.

Кайзер, смешно морща нос, говорит с отвращением:

– Матушка-императрица... Задрипанная дочь немецкого генерала, принцесса захудалого рода садится на русский престол – и Россия послушна ей. Из русской знати капризно выбирала себя самца повыносливей. Не очень понравился – на ночь, получше самец показал себя – задерживался на неделю, совсем кобелина первый сорт – на месяцы. Русский трон.

– Николка Корнаков у неё вышел бы в генерал-аншефы, – говорю я.

– Я так думаю, что Николка и самого Луку посрамил бы, – ухмыляется длинный Юр, который знает о Луке всё наизусть, вплоть до всех знаков препинаний. Он с почтением относится к Баркову⁷, считая его вопреки всем мнениям родоначальником современного русского языка.

– Это для ассонанса – как всегда важно говорить не к месту Васька Сотников.

Он помешался на этом ассонансе и вставляет его где нужно и не нужно.

– А матушка-то оказалась неглупой, – говорит Ванёк Князев. – Сколько дел наворотила. Другие умели только подставлять... а эта кое-что оставила.

– С таким народом человек самых средних способной будет выглядеть гением, – говорит Кайзер.

⁷ Барков Иван Семёнович (1732 – 1768) – русский поэт, переводчик Горация, басни Федре. Его непристойные стихи написаны современным русским языком и не лишены талантливости, шествуя из века в век.

Я молчу.

* * *

В орденских ленточках Ивана – солдатская Слава 3-й степени, Красная Звезда, две медали «За отвагу», потом – «За взятие Белграда», «За победу над Германией»...

А на старой Андреевской Звезде стоял девиз: «За веру и верность»... Вот это девиз!

Вокруг одного из шубинских орденов – легенды. Красная Звезда – единственный из орденов, которым тут же, на месте, имел право награждать командир дивизии. Обычно адъютант комдива так и носил их в сумке, на всякий случай. Однажды в 1-й траншее на рекогносцировке комдив признал в Шубине своего солдата по боям сорок третьего. Слово за слово и выяснилось любопытное обстоятельство: гвардии сержант (тогда ещё не старший) принимал участие в восьми рукопашных схватках, свидетелем одной из которых и, пожалуй, самой кровавой, с полкового НП и оказался комдив... Восемь рукопашных? У немцев за участие в одной выдавался особый значок, а тут цел и невредим после восьми!

От своих офицеров мы знаем: пехота при преодолении полосы обороны с последующим преследованием противника за две недели боёв теряет от 80 до 90 % личного состава.

Госпитали, эвакуопункты, пустые санитарные поезда готовятся к приёму раненых – и всё равно не справляются с пото-

ком. В несколько дней десятки и десятки тысяч искалеченных затопляют тылы. Старший сержант Кушнарёв говорит, что не хватало ни сестер, ни врачей. Люди валялись по дворах, в сараях, просто на земле. На километр – стон, плач! Кушнарёв ранен пять раз, последний – в гортань и основание языка. «Жуткое не в боли, – дёргаясь, рассказывал он, – а в страхе захлебнуться. Дышать нечем – кровь стоит и не пускает воздух. Ко мне подошла сестра и с отвращением: «Опять пьяный!» Я ей показываю, мол, пропадаю, из груди одно бульканье, а она, сука барабанная, только халатиком вильнула. Не наткнись на меня хирург – задохся бы, уже глаза выкатывал, дышать нечем...»

«Весной и осенью потери возрастают из-за массовых заболеваний ревматизмом, – повторяет в назидание нам преподаватель биологии подполковник Прудников. – В устойчиво скверные погоды они даже превышают убыль от ранений».

Подполковник Прудников – бывший командир батальона, затем начальник штаба полка и начальник оперативного отдела штаба армии. За два месяца до конца войны «виллис» подорвался на mine. Подполковник потерял левую руку до локтя. Ссылки же на ревматизм преследуют одну и ту же цель: поддержать в нас сознательное отношение к беспощадной физической закалке и суровому режиму...

Смотрю на Шубина: что и говорить – глаза приметные. Понять командира дивизии можно. Недаром тот распорядился установить подлинность фактов и доложить без про-

волочек. В штабе офицеры сверили по документам: кругом прав гвардии сержант! Комдив не стал вызывать Шубина, а сам пришёл. И тут же в траншее привинтил орден к гимнастёрке. И же за правду и за верность.

– Тебе бы «боевик», дел-то у тебя каких набралось! – сказал комдив, – но ещё не поздно, при случае сам доложу командующему.

Да не пришлось. Сложили голову и комдив, и адъютант, и начальник штаба – все сразу в один миг...

Эту историю поведал нам в нашей курилке – ротном сортире – Серёжка Гуцин из 1-го взвода, а слову Гуцина можно верить...

Шубин напевает с чувством:

Я помню лунную рапсодию
И соловьиную мелодию...

А после вдруг говорит совсем другим тоном:

– После рукопашной сам не свой. Тело свинцовое, голова гудит. Руки трясутся. Бывало и наизнанку всего...

Что-то общее прочно связывает меня с ним, как и с Кушнарёвым или капитаном Окладниковым. Безотчётно светло это чувство единства, готовности принять удар за любого из них.

Старший сержант Кушнарёв под Минском, в той жуткой каше окружения, попал в плен, бежал, полтора года отвоевал

в партизанах. Мы слышали от него, как каратели перепилили двуручной пилой его закадычного друга. Несколько месяцев трое партизан охотились за шефом зондеркоманды, пока не выудили из избы одной стервы, предварительно вырезав охрану. Его повесили над крыльцом в исподнем а девку из продажных спустили под лёд. Впрочем, и Огарков рассказывал, что со стервами из русских часто так поступали. С боя возьмут сельцо или городок – экипажи распалены, да ещё своих хоронят, а тут заведётся какая-нибудь настрадавшаяся из местных: и дитя убили, и мать засекли, и избу сожгли... – и давай немецкие подстилки показывать. Очень часто кончали их... Как «нечистый и поганый элемент» вон из тела народа!

Он же рассказывал, как в плотном окружении они неделями ели конину да без соли, а потом принялись за шкуры и копыта...



На Большом Каменном мосту. 9 мая 1945 г

Помню великое торжество Мира – всеобщее паломничество на Красную площадь. В день 9 мая, под утро которого было объявлено об окончании войны, с места тронулся весь люд: и дети, и старики, и взрослые – все шло к Красной площади. Помню скрещенье прожекторов над Красной площадью и гул голосов, наверное, миллионов голосов... Я протиснулся с братом и мамой на Каменный мост. Сердце русского народа было распахнуто перед нами: Кремлевская и Москворецкая набережные, бастионно-строгая зубчатость стен Кремля, святой народной памятью собор Постника и Бармы, звонница Ивана Великого, черный глянец Москвы-реки, переливчатой огнями. Толпа кидала в воду монетки – каждый на

счастье. Я за братом закрутил с пальца и свою – она потерялась в дожде монеток. Каждый загадывал, ждал, желал счастья! И лежит, лежит на дне Москвы-реки мой пятак. Хранит мое счастье.

Юрий Власов

– Иван? – спрашиваю я, не скрывая зависти. – А какой орден или медаль ты получил первым?

Я напою тебе мелодию,
Хочу как прежде жить в надежде...

– Красную Звезду? – переспрашиваю я.

– Не, за Курск, Славу 3-й степени.

У гвардии старшего сержанта по-крестьянски жилистые кисти, толстые пальцы и степенность в повадках. Вывести его из себя невозможно: в шутку обращает любую грубость и злобу других ...

Барашки волн набегают на парходик. Нас покачивает, порой обсеивает водяной пылью. Мерцает заполированная влагой палуба...

– А за что Славу?

– Так, Шмелёв, не подвезят. Я не Жорка Полосухин.

Придерживаю руками шинель. Ветер отдувает фуражку, дёргает ремешок, шарит под гимнастёркой.

Мы особенно чтим этот орден: солдатский и лишь за мужество в бою. И никогда – за штабные штучки, вроде полосухинской игры ключом на рации. Там штаб, накаты брёвен

над башкой, и все пули, разрывы – в стороне. Старшина Полосухин – каптенармус 2-й роты. У него пять орденов и два ряда медалей – и почти все получил, не выходя из штаба (я после узнал, что он-таки ходил в немецкий тыл, потом стучал на ключе в воронке у немчуры под носом, управляя огнём пушечного дивизиона, а однажды держал связь в окружении, его сам маршал Жуков в лицо знал...).

– Иван, а ты на каком участке «дуги» воевал?

«Дуга» – это Курская дуга. Мы наизусть знаем все 10 знаменитых сталинских ударов и слышаны о танковом сражении у Прохоровки. Именно там Огарков горел по первому разу. Говорил, за дымом, не проглядывались даже свои машины. Экипажи подбитых танков – немецкие и наши – резали друг друга среди рёва моторов, взрывов, пуль и осколков. Просто убивали всех, кто был в чужом, кричал по-чужому и до кого можно было достать. И в танковых рациях команды глохли за матом, треском и воплями...

– Иван, ты под Прохоровкой был?

– Не, нас за Ромашечками развернули.

– А за что всё же орден?

Шубин снимает пилотку, засовывает под ремень. Беловато-выгорелая гимнастёрка тесновата ему. Ветер парусит шинель на плечах. Он сцепляет её крючками у воротника.

– Как всё было, Иван?

– А взвод нас: 26 – и задача: отсечь пехоту от танков, не допускать к артиллеристам. Батарея «иптаповская» (истре-

бительно-противотанковая. – Ю.В.). Их только и ставили, где танки. Они о себе шутили: «Двойной оклад – двойная смерть». Им за риск – двойной оклад... За спиной – Ромашечки, мы ждём, томимся. Мой первый бой. Под каской, однако, греет – это осталось в памяти. А вокруг дым на полнеба, грохот! Воюют, но где-то в стороне. Земля! Веришь, вот рывками под тобой. Мать моя родная, ещё драка не началась, а уж в порты вот-вот напустишь! Пылью затянуло, а никого не видать. А после... и не один, и не постепенно, а сразу много из мглы. Из одного танка ракеты: красная, белая и снова красная. Лязг, будто с неба съезжают. И со всех сторон молотят из пушек, но мимо нас, по деревне. А там ведь люди! Мать моя, удрать бы! И вижу: не один я в оглядки играю. А этот лязг уже всё мнет. И кости мои, будто уже под ним. Тут наши «зисы» и заухали. От каждого залпа пыль волной. Мой 2-й номер на дне окопчика – «барыня» кверху. Я освирепел: «Прибью, падла! Где цинки?!» И по заднице лопатой... Цинки! Цинки! А Егорка мёртвый, лупи, не лупи... Видно, как зашибло, забился и помер на дне.

И когда его... и когда я расстрелял цинку – не упомяну. Орал и лупил в фигурки за танками...

Нашу батарею разрывами закидывает: по пыли, дыму – розовые всплески. В поле – тоже дымы, а в дымах ярко от огня. Не жёлтые огни, а белые. Жирно чадят...

Это из наших тылов тяжёлая артиллерия. От неё у танка башня на десяток метров кувыром, танк на бок встаёт...

Во шарашили!.. Гляжу: наш взводный, младший лейтенант Алеев, высунулся, что-то кричит нам и рукой показывает, а его вдруг по плечам... веришь, пополам, как косой. Он сам вниз свалился, а голова с шеей и куском от плеч по отдельности... в пыли... Я думал, у меня глаза лопнут. Про всё забыл и смотрю на эту жуть...

А меж тем мой окоп засыпает: по самый пуп землицы, тесно вдвоем. Я ору, а без голоса, крика не слышать. «Цинки! – ору, – Цинки!..» А сам забыл, что Егорка не живой. Теперь я и 1-й, и 2-й номер, цинки-то ищу, выгребаю. Добрался... мать моя родная, а ихняя пехота рядом! Озлился я, думаю: «По ногам самый раз!». Поле за дымом не вижу, брею над самой землёй, прямо над картофельной ботвой. А видать, достаю: орёт немчура не своим голосом. Матерюсь: «Мать вашу так, не сладко, не сладко!..» А уж наши с батареи не ухают. И кто слева, кто справа – хрен разберёт... А что делать? Стоять надо!»

А вода в кожеху кипит, гляди заклинит мой станкач...

«Мать твою так! – думаю. – Танки ещё пронесёт, а солдаты? От них не укроешься». А запас весь! Три комплекта до последнего патрона! Тут как съездит по моему «станкачу» – куды и делся! Пальцы оборвало – в кровище...

Танки! Ну ближе полсотни метров, а я не свободен! По плечи в земле. А они из пулемётов! Мать их... кипит земля! Я рылом в землю. Мать их!.. Жру землю! А лязг всё покрывает, будто и не было наших «зисов». А после – крики!

Это с батареи! Давят тех, кто уцелел. Всё верно: ствол длинный, жизнь короткая... Ну кричали! Я вжался: справа, слева – свастики! И вроде конца нет. Доложу тебе, Петя: это они только в кино ползут. А тут вылетают, будто не в поле, а на шоссе. Бросает их, качает, а они прут! Упорные! От пуль вся земля фонтанчиками. А после по мне стегать. Не поверишь – слышал каждую. Зло землю секли, будто и не мягкая. Рылом хоть и пашу, однако, подглядываю. И увидел фрицев! На броне они! Не на каждом, а так, жиденько. И тоже гады прижались, лишь бы уцелеть, не упасть...

От гари и пыли слёзы, в зубах земля, голова под каской дрожит. Сколько они через нас пороли, не могу сказать, а после пусто. Дым крутит, и рёв за Ромашечки укатывает. И я вроде пьяный, пошевелиться не в силах. Погодя снова «зисы» заухали – за нами, другая батарея их принимает.

Смотрю: один будто я. Один, что сделаю? В плен: нет! А соображаю, однако: уйду – свои расстреляют. Приказ читали: ни шагу назад! Сижу, одна граната под носом. Егоркину винтовку откопал. Раз выстрелил по фрицу – из воронки полез – ствол раздуло. В стволе земля, а я не побеспокоился. Доглядываю: вроде больше никого. Дым, правда. Так что, может, ошибаюсь. «Эх, – думаю, – зряшно погибну».

А тут Сёмка Лоскутов хрипит сверху: «Что ж, они, сучьи дети, делают?! Неужто им такая жизнь по душе?!» А уж Лоскутов не из целок, как я, не в первом бою...

«Только, соображаю, отчего это его ботинки и обмотки

у моих глаз?» Тогда и вовсе очухался. Пособил мне Сёмка, разгрёбся... встал. Лёгкий такой, будто не я под гимнастёркой. Чумовой стою, качает, блюю, а вроде нечем. Желчь одна... Высох я за эти минуты, ни капли воды во мне... С поля крики, а у нас молчок, хотя кругом всё тот же грохот. Густо по нам прошлись. Ихние орут в поле – различаю, а у нас тут – мёртвый час... Ковыляем мы с Лоскутовым по позиции, не понять, где она. Везде пахота, затёрли. Где рука торчит, где плечо, где кости и мясо в соломе и мусоре, а где земляца кровью раскисла. Местами ровно – будто никого и не было, хотя считаем шагами, положено быть нашим... Четверо нас всего и выкопалось. Орём друг другу в уши. За руки, как в яслях, пособляем ходить. Говорим, говорим, а не сразу доходит. И не орём, а хрипим.

А бой продолжается и вроде вкруговую... На пустую ладонь, какой я вояка? Зряшно погибну. В поле кидают ракеты. Кто кидает, зачем? И ещё разрывы. Случайные, по-моему... А каски нет. Когда её сорвало? Только лучше без неё, вроде посвежее. О смерти не думаю. Пули иногда жикают, а я на них ленив даже. Во нажрались, доложу я тебе! Взял я себе «ППШ» из воронки. Чей? Этих воронок вокруг, что кочек на болоте... Залезли в ту, что поглубже, и общно мечтаем: напиться бы воды перед концом. Выжгло от жажды. После слышим: танки! Однако, те стороной. Полежали, обжились, пригляделись, а там фрицы в поле: танкисты и пехота, что ссыпалась, не выдержала огня. Горстка нас, а их там до полу-

роты, недобитых. Свободно могли нас смять. А от батареевцев – никого. Веришь, чёрная земля вокруг – и горит. Голая горит, курвой быть, коли вру!.. И пушки – в лист раскатыаны! И по полю – стон. Свои не могут. Свои молчат. Плачет поле за дымом. А мне, главное, напиться бы. Выжгло грудь, печёт! Поначалу даже не признал, кто рядом: лица под коркой, кровь, слиплись грязью, глаза выпученные. И сажа выпадает. Чёрное поле! Лоскутов хрипит на ухо: «Глянь, ямы сплошь! Куда им?» Это он о танках. И верно – живого места нет. Вроде оспины одна на другой, но танкам мелковаты, надо – пройдут. После трясёт за плечо: «Командуй, Ваня, я не слышу. Покажь, куда стрелять...»

Погодя мина рядом! Меня – в голяшку, а сам-то я в воронке! Во случай!

Ну и держались мы. Били в поле неприцельно. Немцы не идут, вроде кусаемся... А ночью наши приползли, забрали раненых и живых...

Умылся в тот день наш брат кровью... Но госпиталь, я тебе доложу, Петя! Госпиталь! Жрать голодно – факт, но сёстры, Петя! А я на костылях! Ты пойми, все на родных двух, все поспевают, а я на костылях!

Мы ржём. Шубин подталкивает меня: «А хорошо попарились в последний раз!»

Каждый понедельник, в пять, нас будят: банный день. И по худосочному свету одиноких фонарей, горбатыми улочками мы отупело топаем вниз, к баням. Надо успеть до на-

чала уроков – на мытьё тридцать минут. Очереди – к кранам за горячей и холодной водой. Шайки, осклизлость каменных полок – я всегда к ним брезглив. В банные дни сержанты с нами, в том числе и Шубин...



В 1948 году отец получил назначение в Шанхай Генеральным консулом. Он приехал в Саратов проститься со мной и сказал: “Только труд и медаль по окончании откроют тебе дорогу в жизни”.

Это стало моим девизом. Я боготворил отца, всю жизнь я обращался к нему и маме на “Вы”.

Юрий Власов

– А «тигры» пёрли на Ромашечки?

– Тогда все на одно рыло, а уж после госпиталя научился узнавать. Они самые... Конечно, и другой масти были...

Усердно ворчит пароходик. Мы с гвардии старшим сержантом жмемся спинами к желтоватому паровому котлу. Я не видел котлов, которые бы так бокасто возвышались над верхней палубой. Котёл стиснут четырехугольной скамьей, и нашим спинам жарко. До того жарко, что мы время от времени отваливаем от котла на резвый, переменчивый волжский ветер. Ми ржём потому, что спины наши мокреют от жары, а грудь, живот и колени коченеют холодом. И ещё веселы тем, что, в конце концов, Иван добился своего.

Кроем же мы того майора-медика! Нашёл время навешиваться в перевязочную! Ёлки моталки, какая получалась «перевязка»!

– ...Известное дело: на поцелуи, что на побои, – ни веса, ни меры. Драпать, а куда?.. Я – под кушетку. Она костыли ко мне впихивает и ещё на ходу застегиваться поспекает. А тот выключателями «щёлк-щёлк» по коридору! Пол плиточный, карболкой разит, а я в панике. Ну прёт на меня, фашист! За такие штучки, только встань на свои родные, – и загудишь на формирование! А я, Петя, я ещё не очухался, мне лечение в удовольствие! Да и зашибёт на передке, а я ведь ничего не видел! За сиську ещё не держался...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.